

A painting of a young girl with her mouth open in a scream or cry, her hand raised against a wall. The girl has reddish-brown hair and is wearing a dark, fur-trimmed coat. The background is a textured wall with vertical stripes of yellow, green, and red. The overall mood is one of intense emotion or distress.

# Дина Рубина

---

Любка

---

# Дина Ильинична Рубина

## Любка

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=163755](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163755)*

*Эксмо;*

*ISBN 978-5-04-145878-2*

### **Аннотация**

Истории скитаний, истории повседневности, просто истории. Взгляд по касательной или пристальный и долгий, но всегда – пронизательный и точный. Простые и поразительные человеческие сюжеты, которые мы порой ухитряемся привычно не замечать. В прозе Дины Рубиной всякая жизнь полна красок, музыки и отчетливой пульсации подлинности, всякое воспоминание оживает и дышит, всякая история остается с читателем навсегда.

# Дина Рубина

## Любка

Ноги у Любки гладкие были, выразительные и на вид – неутомимые, хотя на каждой стопе вдоль пальцев синела наколка «Они устали»... Надо же – щеки впалые, плечи костистые, живот к спине примерз, а ноги – даже странно – что там твоя Психея!

– Одевайтесь, пожалуйста, – сказала Ирина Михайловна и, глядя, как торопливо и зябко путается девушка в ляшках рубашки, размышляла.

Надрывная татуировка Ирину Михайловну не смутила. Она второй год сидела в заводской медкомиссии, навидалась за это время всякого, понимала, что детство и юность у человека не всегда протекают на стриженных газонах. Любка держалась скромно, глядела порядочно, пальцы ног на осмотре стыдливо поджимала.

Ирина Михайловна дождалась, пока она оденется, бестолково выворачивая туда-сюда рукава куцей зеленой кофты, и позвала ее в коридор.

– Послушайте... Люба... – она заглянула в лицо девушки. – Вы не представляете, какой это тяжелый хлеб – труд обдирщиц. Через месяц вы рук своих не узнаете, сплошные будут рубцы и ожоги...

Любка настороженно помалкивала, соображая, какого

рожна заботливой докторше надо.

– Не пойдете ли няней, ко мне? У меня ребенок, восемь месяцев. Сидеть некому, положение тяжелое... А я... я вам шестьдесят рублей буду платить...

Похожа была докторша на воспитанную девочку из ученой семьи. Некрасивая, веснушчатая. Нос не то чтобы очень велик, но какого вперед выскакивает: «Я, я, сначала – я!» И все лицо скроено так, будто тянется к человеку с огромным вниманием. Губы мягкие, пухлые, глаза перед всеми виноватые. На кармашке белейшего халата уютно вышито синей шелковой ниткой: «И. М. З.».

Ах ты, докторша... Ну нянькой так нянькой...

Любка собрала лоб гармошкой и сказала:

– Прикину. Адресок пишете...

Две-три улочки двухэтажных домов вокруг базарной площади, почта, пять магазинов в дощатых будках да несколько десятков барачков – этот городишко лепился к металлургическому комбинату и был его порождением. И небольшая санчасть, куда по распределению после института попала Ирина Михайловна, тоже относилась к комбинату.

Стоял сентябрь пятьдесят первого, жесткие душные ветры летучим песком продаивали насквозь каждый переулок.

Собственно, распределиться после института можно было удачнее, следовало только вовремя взять справку о бере-

менности. Но мама – а она была человеком мужественным и властным – сказала своей бездумной дочери: «Как ты не понимаешь, Ирина! Сейчас захоlustье для нас – спасение... Ничего. Подхвати живот, поедем».

К тому времени прошло два года, как серый, чесучовый, безликий в окошке сообщил, что отца перевели в другой лагерь без права переписки. Передач не принимали. Маму давно уже уволили из госпиталя, где она заведовала неврологическим отделением, жили они на Ирину стипендию, поэтому будущая Ирина зарплата представлялась поводом к дальнейшему существованию.

Так что подхватили живот и прибыли «по месту распределения».

В кирпичном доме им дали комнату – приличная комната, метров двенадцать, в квартире с одной соседкой, и кухня большая, даже ванная с титаном есть – чего еще! Все прекрасно, все прекрасно... Ирина Михайловна проработала три месяца и ушла в декрет. Сонечка родилась в той же санчасти. А что, да почему, да от кого – это никого не касается. Глубоко личное дело...

Главное, с мамой ничего не было страшно, она умела все – перелицевать пальто, торговаться на базаре, сварить из пустяка борщ, нашить пеленок из рваного пододеяльника, – вероятно, для этого в свое время она окончила Сорбонну. Словом, Ирина Михайловна выросла в уверенности, что крепкий человек мама не подкачает.

Но мама подкачала. Она умерла в одно мгновение: стояла у окна с пятимесячной Сонечкой на руках, вдруг сказала спокойно:

– Что-то нехорошо мне, Ира, дай-ка воды, – успела опустить ребенка в коляску и – у мамы никогда ничего не болело! – упала навзничь.

Когда, расплескивая воду, Ирина Михайловна прибежала со стаканом из кухни, мама лежала на полу и уже не дышала. Дипломированный врач Ирина Михайловна долго ползала вокруг мамы, как медвежонок вокруг убитой медведицы, оглашая воем квартиру, пытаюсь делать искусственное дыхание, не понимая, почему у мамы нет пульса и вообще ничего нет.

Так что вот какое дело... После похорон на песчаном полупустом кладбище (мама! где Сорбонна, где отец, где отныне твоя могила) – после похорон оцепеневшей Ирине Михайловне надо было решать что-то с Сонечкой. Были, были ясли от комбината, да черт бы их побрал эти ясли. Ребенка жалко.

Тут предложила услуги соседка, Кондакова. Она работала телефонисткой на почтамте, дежурила через двое суток на трети и готова была посидеть с ребенком. Недешево, конечно, забесплатно дураки сидят. Но выхода не было. В дни дежурств Кондаковой Ирина Михайловна приносила Сонечку в санчасть, и та ползала в ординаторской сама по себе, заползала в углы, доверчиво оставляя там лужи.

Нет, с Сонечкой надо было что-то решать. Да и по хозяйству ничего не успевала Ирина Михайловна. После работы Сонечке кашку сварит, а о себе уже и думать некогда. Простирнет то-другое, а убрать уже и сил нет. В доме стало запущенно, под шкафом пыль каталась. Мама, мама.

Словом, необходим был человек в доме. Где, спрашивается, в этом городишке взять человека?

Из года в год комбинат заглывал, перемалывал, переваривал сотни заключенных из близрасположенного лагеря, пленных японцев, ну и конечно, вольнонаемных рабочих.

Любка была вольнонаемной...

Вечером она явилась все в той же линялой кофте – ни чемодана, ни узелка. От нее веяло гордой бездомностью. Привалилась плечом к стенке в коридоре и сказала:

– Я сегодня к ребенку не подойду. Здесь, в прихожей, лягу. Киньте какое старое одеяло на пол.

Недоумевающая Ирина Михайловна подчинилась. Как выяснилось в дальнейшем, Любка умела распределять интонацию во фразе так, что исключались вопросы и уточнения. И жест еще делала рукой, легкий, отсылающий – мол, «а слов не надо».

Наутро, в воскресенье, Любка поднялась рано, потребовала керосину и часа три, запершись в ванной, мылась.

– Вшей выводит, – злорадно догадалась Кондакова. Уплывали от нее нянькины денежки, и это было ей чрезвычайно досадно. Она стояла у своего примуса, бодро помешивая

ложкой кисель, и ждала событий. Кондакова была невеста среднепожилого возраста, с круглыми глазками цвета молочного тумана, с выщипанными, как куриная гузка, надбровьями, на которых она, слюнявя коричневый карандаш, каждое утро рисовала две острые, короткие, взлет бровки.

Наконец Любка вышла – голая и парная, спросила чистую одежду, и, пока Ирина Михайловна копалась в шкафу, подбирая что-нибудь из своего скудного гардероба, Любка, обмотанная полотенцем, непринужденно тетешкалась на кухне с Сонечкой. Кондакова, делая вид, что мешает в кастрюле кисель, косилась на Любкины босые, мраморной красоты ноги и пыталась прочесть наколку. Прочесть было нелегко, и Кондакова щурилась и клонилась к полу. Когда от любопытства она совсем загнулась коромыслом, Любка вдруг подняла ногу и ткнула ступню к лицу Кондаковой.

– На, читай, близорукая, – предложила она многообещающим голосом.

Кондакова подхватила кастрюлю и унеслась в свою комнату, где скрывалась до вечера.

А Любка облачилась в мятое клетчатое платье, сшитое когда-то лучшей ташкентской портнихой для выпускного бала, и долго возилась у печки, не без удовольствия ворочая кочергой в огне топки пожившую зеленую кофту.

– И вот что, доктор... – ласково щурясь в танцующих бликах огня, проговорила Любка. – Вы моих денег мне не давайте... Складывайте где-нибудь... Чтоб я места не знала...

Она сразу взвалила на себя всю работу по дому. Скребла, стирала, кипятила, варила, возилась с малышкой – самозабвенно. В народе про такое говорят – пластается. Ирина Михайловна переживала, пыталась придержать ее – куда там! Просто, когда Ирина Михайловна возвращалась из санчасти, дом оказывался прибранным, обед приготовлен и укрыт старым маминым платком, ребенок накормлен и утомлен. Всего за два-три дня жизнь Ирины Михайловны задышала теплым ухоженным бытом, словно мама вернулась, и от этого по вечерам тоненько скулило сердце.

Недели через две, прихватив Любкин паспорт, она пошла в отделение милиции – прописывать домработницу.

Майор Степан Семеныч как в паспорт глянул, так откинулся в кресле и даже не сразу говорить начал, только тряс перед Ириной Михайловной раскрытым Любкиным паспортом.

– Ирина Михайловна! Что вы делаете?! – наконец крикнул майор. – Она же главарь банды, эта Любка, недавно срок отбыла!

И бросил паспорт на стол.

– А если она вас обворует?!

Ирина Михайловна села, посмотрела на майора, повертела в руках Любкин вполне обычный на вид паспорт, подумала о маме... Сильный человек мама всегда говорила: «К черту условности!» Девчоночьим жестом оправив юбку на коленях, Ирина Михайловна деликатно, пальчиком подвинула

Любкин паспорт к майору и сказала виновато:

– Ну, обворует – я к вам приду...

Пока шла домой, мучительно размышляла, как себя с Любкой держать. Сказать бодро: все в порядке, Люба, я вам доверяю? Фу, пошлость! Главное, не выдать, до чего боязно засыпать в одной комнате с главарем банды.

В коридоре Ирина Михайловна разделась, на цыпочках прокралась к своей двери и приоткрыла ее. В комнате пели, тихо, заунывно. Любка сидела в темноте, спиной к двери, и мерно колыхала коляску. Узкий луч света из коридора полоснул ее меж лопаток и упал к ногам. Коляска кряхтела, потрескивала – кузов ее сплел из ивовых прутьев пленный японец Такэтори, которого Ирина Михайловна выходила после перитонита. Коляска поскрипывала, и Любка влажным горловым звуком тянула странную колыбельную, приноравливая ее ритм к этому шороху и скрипу:

Чужой дя-а-дька обеща-ал  
Моей ма-а-ме матерья-ал,  
Он обма-а-нет мать твою-у,  
Баю-ба-а-юшки-баю-у.

Ирина Михайловна прикрыла дверь и почему-то все на цыпочках пошла на кухню. Там за своим столом сидела Кондакова и понуро тянула чай из пиалы вприкуску с желтым узбекским сахаром.

– Совсем меня с кухни потеснила! – пожаловалась она

Ирине Михайловне, длинным шумным хлебком втягивая чай. – Целый день жарит-парит, ресторанное меню готовит... Грубая. Бандитка!

Ирина Михайловна устало подумала, что Кондакова, пожалуй, никогда еще не была так близка к истине. Раскутала кастрюлю, сняла крышку – и замерла, блаженно вдыхая аромат горячего горохового супа.

Словом не обмолвились – ни та ни другая. Будто Любкина биография началась в кабинете медкомиссии. Хотя на человека, скрывающего свое прошлое, Любка похожа не была.

– Вы, Ринмихална, денег в шкафу, в белье, не держите, – посоветовала однажды. – Нельзя так простодушно жить.

Ирина Михайловна растерялась, вспыхнула, возмутилась: неужели Любка в шкафу рылась?

– Я не рылась, – добавила Любка, словно услышав ее мысли. – Заметила, когда вы Кондаковой одалживали... А шкаф, да еще в белье, – первое для домушника место. С него начинают.

– Да какие у меня деньги, Люба!

– Тем более, – возразила та строго.

Незаметно выяснилось, что в жизни Любка разбирается лучше Ирины Михайловны и уж гораздо толковее обращается с деньгами: знает, на что и когда потратить, а когда и придержать. Само собой получилось, что на рынок выгодней посылать Любку.

Как-то прибежала, запыхавшись, бросила в коридоре кошелку с картошкой.

– Ринмихална! Гоните-ка восемьдесят рублей! Там старушка два стула продает! Сдохнуть можно! Графские! Ножки гнутые, лакированные! Я час торговалась.

– Люба, у нас же до зарплаты всего сотня осталась...

– Не жмитесь, выкрутимся!

...А стулья и вправду оказались чудом из прошлой, до-революционной еще, жизни – с нежной шелковой обивкой: по лиловому полю кремовые цветочки завиваются – осколок какого-нибудь гамбсовского гарнитура, неведомо какую судьбой занесенный в захолустье азиатского городка. Стулья стояли теперь по обе стороны круглого стола с обшарпанными слоновьими ногами, девственно лиловели обивкой и напоминали двух юных фрейлин, случайно оказавшихся на постоялом дворе.

За вечер Любка сшила на них чехлы, протирала каждый день особой тряпкой изящные гнутые ножки и называла стулья не иначе как «мебель» («Какая мебель! – с нежностью. – Даром, даром!...»)

Аванс и получку Ирина Михайловна отдавала теперь Любке с огромным облегчением, как раньше – маме. Не надо было рассчитывать и раскладывать по полочкам, а потом, как бывало, тянуть последнюю тридцатку. Рассчитывала теперь Любка. И увлеченно – присядет на краешек стула, разбросает перед собою веером на столе небогатую получку

Ирины Михайловны и, сосредоточенно шепча, долго передвигает туда-сюда бумажки, словно пасьянс раскладывает. И упаси боже отвлечь ее каким-нибудь невинным вопросом – например, зачем на примусе весь вечер суп кипит? – она еще и огрызнется:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.